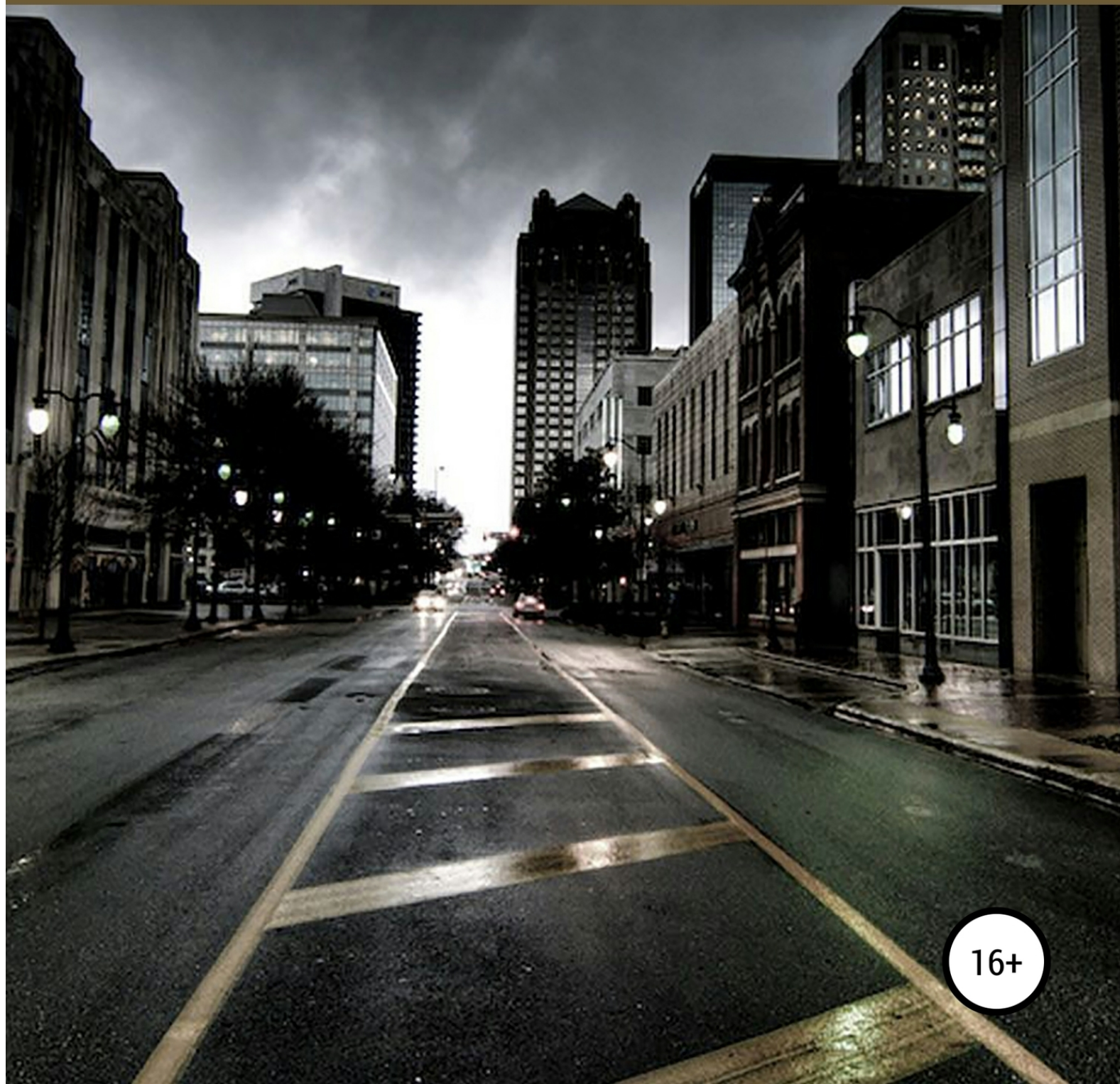


Владимир Шапко

БИЧ

Повесть



16+

Владимир Шапко

Бич

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Шапко В.

Бич / В. Шапко — «ЛитРес: Самиздат», 2020

Бич (забытая аббревиатура) - бывший интеллигентный человек, в силу социальных или семейных причин опустившийся на самое дно жизни. Таков герой повести Игорь Луньков.

Содержание

Главы	5
1	5
2	7
3	8
4	9
5	11
6	13
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Главы

1

Похмельный язык во рту был как негр. Как мучительно обрусевший негр. *Дринк-вода!* – хрипел. – *Дринк-вода!* С жалобным тоненьким стоном Луньков начал поворачиваться. Диван, как неотъемлемая его часть, как нутро, тут же взнялся весь и застенал ещё жалобней, плакси-вей. Набрякшие веки тряслись, боялись выронить глаза. Рука слепо шарила внизу возле дивана графин.

Запрокинувшись, пил тухловатую воду. Голова тряслась, зубы колотились о стекло, вода сливалась по подбородку на шею, на грудь. Словно разучившись, долго ставил графин на пол. Рука хваталась и хваталась. Лёг, наконец, на спину, шамкая смоченным ртом, зализывая разбитую соленую губу. И дальше – будто висел. Вне времени, вне ярящихся на соседней стройке самосвалов и грузовиков, вне стрёкота крана оттуда же, вне людских голосов, вне жизни.

И, как почти каждое утро, заскрежетал в замке ключ. И в Лунькове вновь всё затрепетало, затряслось. Зажмурившись, он вдавился в диван. И слушал только пыльные, вздрагивающие пружины.

А Кошелев уже ходил по комнате, совался во все углы, распинывал бутылки. Будто упорно искал что-то на полу. Мелкое, давно утерянное, но не забытое. Ругался.

– Эй, Заварзин! – грубо трягнули Лунькова. – Заварзин! Охрана чёртова! Вставай! Опять жрал всю ночь... А может, письма свои писал, а? Заварзин? Ха-ха-ха!

Луньков, колотясь с головы до пяток, ещё скидывал ноги с дивана, поспешно садился, а прыгающий взгляд его уже выхватывал валяющийся на столе стакан с пролитой и подсохшей буро-чернильной лужей, резкое серебро килек, перемешанное на тарелке, и, как трубу, высокую тёмную бутылку из-под портвейна... Тетради на столе не было...

Расстегнувшимся рукавом рубахи Луньков вытирал со лба пот. Как прикрывался грязным обтрёпанным рукавом. А Кошелев всё ржал:

– Что-о? Испугался? Сразу вскочил? А-а! Ха-ха-ха! Да ладно: шутю, шутю, как говорится... Сегодня же день расплаты. А, Заварзин? Шестнадцатое. Забыл?

– Мне бы умыться, Роман Авдеевич... Извините.

– Умойся, умойся. Обожду.

С гадливостью Кошелев поширкал тряпкой засохшую винную лужу. Накинул на неё газету. Только после этого разложил свои бумаги. Протирая платком очки, смотрел на размывшийся в ведомости список фамилий, так же размыто слушал шум воды из коридора, наизнанку выворачивающегося над раковиной в кашле Заварзина... «Ханурик! Сдохнет тут ещё чего доброго...»

Полотенце выглядело чернее сапога. Луньков посмотрел и вытер только руки. Кинул в угол на мешок с театральным тряпьем. Стал искать пуговицу на обшлаге рубахи. Поверх очков Кошелев внимательно наблюдал. Пуговицы не нашлось. Тогда Луньков застегнул две пуговицы на груди. Сел к столу. Кошелев с хохотком крутнул головой: ну алкаш! Пододвинул ведомость, ручку. Шариковая ручка сразу начала скакать в руке Лунькова.

– Эко тебя! – наморщился Кошелев. – Да погоди! Не расписывайся!.. На, глотни сперва...

Минут через пять, глотнув из плоской посуды Кошелева, которая, как валидол, всегда была при нём, особенно когда он приходил *за росписями*, Луньков шарил вялой рукой окурков в пустой консервной банке. Пьяно разглядывал фамилии в ведомости:

– Конуров... Шишин... Свирьков... Так, понятно. Новые души. Только что из реанимации. Я – Заварзин. Я по вашим корочкам гениальнейший машинист сцены. Со мной всё ясно. А

эти? Кем они могли бы быть в миру?.. Конуров... Конечно, народным. Народным артистом. С такой фамилией-то? Непременно. Да и аванс у него однако!.. Шишин... Трудно сказать... Что-нибудь такое: ши-ши-ши – по коридорам. Каждому – на ушко... Свирьков... Свирьков только гримёром мог бы быть... Эдаким гримёришкой... Эдаким ма-ахоньким лысым пьяницей...

– Ну хватит! Расписывайся!

Но Луньков не торопился. Окурок попал в руку сигаретный, сильно замятый, задавленный. Луньков его принялся углублённо расправлять.

– Да на вот! На! – сунул пачку сигарет Кошелев.

– Вы же не курите! – деланно удивился Луньков. – А тут смотрите-ка, опять «Стюардесса»! Чудеса-а...

Кошелев скрипнул зубами.

– Ну, вот что, сволота, будешь расписываться или не будешь?

Луньков сразу потух, взял ручку. Следя за протрезвевшим его, злым лицом, за уверенной, злой ручкой, Кошелев подумал: кончать надо с ним, много знает, гад, слишком много...

Выхватил ведомость.

– Вот так-то!.. А это гонорарчик вам, товарищ Заварзин! Ровно четыре рублика...

Кошелев комкал рублики и – по одной, жёваными – кидал на стол. Одну, вторую, третью, четвертую. За каждую душу отдельно. Три плюс вы, товарищ Заварзин. Четыре мертвых души. У нас как в аптеке!

Луньков не смотрел на него.

У порога Кошелев «вспомнил»:

– Да-а, а как с корочками быть?.. Ну-ка верни, уважаемый, корочки-то... Всё забываю...

Луньков сразу вскочил, умоляюще шагнул:

– Ну зачем вы так! Роман Авдеевич! – Как женщина ломал руки: – Я же... и не пошутил даже. Нет! Так просто сказал. Так! Мне ведь в Щекотихе без них – нельзя. Вы же знаете. А там дрова опять пришли. Опять работа. Да и здесь. Ведь сторожу. Ничего не пропало. И не пропадет, не пропадет! Поверьте!.. Не надо, Роман Авдеевич. Прошу вас... Не надо...

– Смотри... – глянул понизу Кошелев – как перерезал Лунькова. – Знай, с кем шутишь... З-заварзин!..

Хлопнула дверь. Замерев, Луньков слушал бухающую поступь с крыльца. Сердце выпукло возникало за грудиной и пряталось. Выталкивалось и снова пропадало.

2

В белесом куцем плащишке и тирольке он появился на крыльце *впритык к одиннадцати*. Пока шарился длинным ключом в мешковине двери, морщась смотрел в небо на мелко сеющий дождик. Затем привычно перевёл взгляд на мёртвый пустой остов театра, где из чёрных оконных провалов выкрутился когда-то страшной силы пожар... К театру недавно кинули разудалый забор, за забором сновали люди, дергался, стряхивая песок, самосвал, с разбортованного грузовика скидывали длинные свежие белые доски, высоко подносил бадейки с раствором кран, и всё видящей, всё запоминающей хозяйкой пыжилась возле бытовки сторожика.

Луньков сутулился, поднимал-поддёргивал вороток плаща, пробираясь к калитке. Везде валялось содранное с крыш театра обгорелое кровельное железо. Постаревшая стопа фанеры, завезенная и брошенная, уже фардыбачилась. Высокий навал из уцелевших оконных рам и дверей опасно разъехался. И всё это мокло сейчас, продолжало гнить, ржаветь. И непонятно, для чего оно сохраняется здесь.

– Эй, сосед! Погоди-ка!

К забору торопилась сторожика со стройки. Запыхавшаяся, с чайником.

Поздоровалась, попросила набрать водички. У нас-то водопровода пока нету. Набери, сделай милость.

Луньков сходил, набрал. Когда протягивал полный чайник, качнуло от забора так, что чуть не опрокинулся, оступившись прямо в лужу. Отряхивал брюки, плащ. Избегал глаз сторожика. А та не уходила, разглядывала его.

– Что-то я тебя не припомню, парень. Ты из какого отряда?

– Я не от вашей... системы... По совместительству...

– А-а... Ну-ну... Уж в случае с водичкой-то, к тебе теперь я...

– Пожалуйста.

Под цепким взглядом женщины Луньков старался лужи обходить деликатно, порядочно как-то, что ли. Однако словно бы тащил за собой меркнувшее дыхание своих слов: не от вашей системы, по совместительству...

3

Через час сидел у стола, свесив с края вялую руку. Смотрел в окно за забор, где всё так же дергался с задраным кузовом самосвал, где той же всё видящей кубышкой напыживалась сторожиха... Крепко зажмуриваясь, пил из стакана. Слепым ртом ловил словно бы подвешенную кем-то кильку. Жевал, морщился, икал, удерживал лезущее назад вино, наливаясь кровью и тут же бледнея. Отирал слёзы... Высокими изломанными буквами надёргивал в тетради высокие изломанные слова:

...и жизнь моя теперешняя, Люба, – сплошная ирреальность. Бред, морок. Глухая чёрная повязка на приговоренном, за которой уже – сжавшийся на острие иглы весь мир... Прости, прости мне эту пошлую метафору, но она всё время теперь во мне. Ползает, давит, душит... Прости...

Раскинувшись, он полулежал на диване, точно сломанный в груди. Зрачки пусто расширены. Иногда суживались. Он смотрел на портвейные три бутылки на столе. На фоне короткого сжатого заката высокие чёрные бутылки с коротенькими горлышками стали казаться ему трубами. Гигантскими газовыми трубами... Он качнул себя к столу. Упершись в столешницу, дико разглядывал бутылки. Во внезапном, сумасшедшем прозрении прошептал: «Гигантские... легальные... винокурни... – Обернувшись, громко спросил у кого-то: – А?!» Его мотнуло от стола и с маху кинуло назад, на диван, затылком в стену. С перекосившимся от боли лицом медленно сползал, сдирая со стены извёстку. Так же медленно полз по спинке дивана. Словно не отпускал боль. Словно забирался с ней в себя. Как в конуру. Легонько постанывал. Кувыркнулся на бок, охватив голову. Затих.

4

– Эй, Заварзин! – опять трясли, дёргали Лунькова на другое утро. – Заварзин! Мать твоя чекушка! Давно одиннадцать! Пора!.. Да Заварзин!..

Луньков быстро сел. Сын Кошелева Гришка уже бегал. Длинная женщина как всегда курила у окна. Отрешённо смотрела вдаль. Как индеец через века.

«Скальп чертов!» – бухая сердцем, торопливо застёгивался Луньков. Гришка ширкался ладошками. «Времечко, времечко, Заварзин! Поторопись!» Приобнял, повёл, насадил на Лунькова шляпку, вытолкнул на крыльцо. Луньков судорожно искал рукой рукав пиджака. Рука попадала в рукав плаща. Скинул всё на крыльцо. В шляпке, с незаправленной рубахой по колено, нелепый, дикий, тяжело дышал... Сзади резко высунулся Гришка. Уже в майке, волосатенький. «Вечером – чтоб дома! Как штык! Понял? Будешь нужен!» И захлопнулся, скрежетнув замком. «Гад!» – плюнул в отчаянии Луньков.

Часа через два он в неуверенности топтался на крыльце, не решаясь сунуть ключ в замок. Сжимались в ненависти зубы. Мутно, как из лужи, всплывала недавняя картина: длинно лежащая Скальп с бесконечно длинной голой ногой на спинке дивана и запрокинувшаяся, самозабвенно храпящая башка Гришки, прикрытая грудью Скальпа, как шляпой...

Луньков сбежал с крыльца, заметался по дворику. «Мерзавцы! Похотливые мерзавцы! Господи, куда-а?» Решительно направился к окну. Грубо застучал в стекло. Упрямо ждал. В комнате не шевелились. «Сейчас я вас, сейчас!» Забежал и заколотился с ключом в замке. Распахнул дверь...

Сразу ослаб. Качался в дверях, хватаясь за косяки. Войдя, стаскивал плащ. Не мог кинуть его ни на свой диван, ни на диван возле окна. Бросил на мешки с театральным тряпьем. Присел, наконец, к столу, вытирая со лба пот.

Глаза непонимающе натыкались на три мятые синюшные конфетные обертки на середине стола. И лицо Лунькова начало вытягиваться: «Так это в перерывах, значит. В трех перерывах. Скальп съедала по одной конфете...» Он сглотнул. И затрясся в полусумасшедшем, тихоньком смехе. И захохотал. И задергался, давясь хохотом. «В перерывах! Ха-ха-ха! Сорванные розы любви! Брошенные на стол! Синюшные розы Скальпа! Ха-ах-ах-ах!..»

...Вот, Люба, я всё пишу тебе эти письма, над которыми потешаются Кошелевы. Письма к тебе – к бывшей моей жене. Единственному даже сейчас родному для меня человеку. Да, да! Прости... Я не сумасшедший, я знаю, что ни одно из них я не вложу в конверт, не надпишу на нём твой адрес. Но сидит во мне, Люба, вера (а может, уже мания?), что однажды, когда-нибудь я напишу тебе, наконец, одно, Единственное письмо – и оно всё перевернёт в моей жизни. Прости за высокие слова – подвигнет к чему-то. Очень важному для меня, единственному, может быть. И отступить тогда назад будет уже нельзя. Только вперед тогда, только вперед. Понимаешь? Может, это чушь, бред, что так всё будет, но я верю, верю. Кроме этой надежды – ничего у меня нет...»

Луньков встал, подошёл к окну. Смотрел на спящее в мороси предвечернее небо, на мокнувший во дворе разброс.

...Вот смотрю я сейчас в окно. Опять сочит дождь. Вроде бы на улице промозгло, холодно, а под водосточной трубой, на краю бочки, полной воды, всю купается, разносит брызги пухленький воробей. И, знаешь, представляется мне, что глядят на него сейчас с крыши другие воробьи, тужатся от холода и чирикают меж собой: ну не дурак ли этот воробей? В

такую погоду!.. А он и знать не желает, что промозгло, сыро, что осень давно висит кругом, ему – дожди еще тёплые... И поддает водой, и разносит!.. Ну не молодчаги ли воробей?

Невольно Луньков обернулся. Словно поделиться радостью с кем-нибудь... Сразу погас. Медленно вернулся к пустоте. Убирал со стола тетрадь, ручку, два обгрызенных карандаша, исписанные обрывки газет. Запрятывал всё в мешки с театральным тряпьем.

5

Он вскользнул в комнату. Новый персонаж. Шофёр Роберт. Словно за ним гнались, искали. Постоял, вслушиваясь. Острокадыкастый, как голодный. Будто просто на стул, накинул на Лунькова спецовку. Прошёл, открыл дверь в коридор. Опять замер, высоко задрал руку к выключателю...

Луньков торопливо вдевался в спецовку, с удивлением следил, как Роберт рыскал по коридору и зачем-то часто-часто дёргал стеклянные ручки на дверях закрытых гримёрных. То ли открыть пытался, то ли испытывал, крепко ли прибиты. Пустил для чего-то сильную струю из крана в раковину. Закрыл кран. Нырнул в дальнюю комнату. Слева. Открытую. Где навалены старые декорации. И быстро-быстро полез по ним, треща и проваливаясь, к единственному в комнате, почти под потолком, окошку.

Вернулся, наконец, обратно в комнату, сшибая пыль с брюк и пиджака. И вновь замер, голодно вслушиваясь. То ли к себе, то ли к чему-то внешнему, за стенами... Наконец, словно отбросив решение недавней задачи на потом, как-то злопамятно, радостно просветлел: погоди же-е!.. И пошёл к двери, на ходу скороговоркой лая будто только для себя одного «пошли-пошли-пошли!» и выдёргивая из заднего кармана ключи от машины, как оружие. И всё это – точно в пустой комнате, точно и нет никакого Лунькова в ней. «Артист!» – метнулся за ним Луньков.

Подперев свет, как хиленький душ, в кабине грузовика застывши сидел Кошелев старший. Словно терпеливо смывал перед дорогой давно намыленное, неотвязчивое... Луньков усмехнулся: «Понятно. Встреча в верхах предстоит. – Прикрывал калитку, закладывал вертушок. – Встреча на высшем уровне. Потому сегодня – сам!»

Грузовик катил по широкому оврагу вниз к огонькам Нижегородки. Будто с фонариками, по холмам скакали домишки. Справа, слева.

Но внизу, на месте, в окнах дома на бугре – темно. Из кабины вглядывались. Неожиданно взнялась зарница, и сразу сторающей стрекозой затрепетала над крышей антенна. Грузовик подал вперед и, круто разворачиваясь, полез к дому задом, кидая Лунькова от одного борта к другому. Немые, пошли раскрываться ворота.

В глубине двора, под переноской в низком гараже, забитом мешками и ящиками, угрюмо ждал хозяин. Свет вылоснил только лысину, лица – не было; толстые руки закруглены – как для драки.

Так же угрюмо пошёл к нему Кошелев. Обнялись, как ударились. Сильно хлопали друг друга по спинам. От ударов икали. Роберт рыскал по гаражу...

Оврагом наверх машина тащилась с натужным высоким воем. Для передышки хватала другие скорости, взрывалась, снова натужно выла. Отделяясь от горячего зудения мотора, из кабины вылетали обрывки фраз, возгласы, смех. «Довольны. Пошабашили. Кто кого только на этот раз надул?» Лунькова болтало на тугих мешках с цементом. За шиворот к потной спине уже лез озноб. Луньков садился, охватывался руками. Покачивался – как думы свои покачивал...

...Люба, он имя его всегда выговаривает так: «РобЭрт»... А «РобЭрт» его: «Афдеч! Афдеч!». Понимай: Авдеич. Как сглатывает в нетерпении. Голодный, обжигаясь... «Афдеч! Афдечь! У меня тёща не каблирована. В Песчанке. Каблируй, Афдеч! Пять сотен и сверху!..» Или: «Афдеч! Афдеч! Люстры у Фрола! С висюльками!» И рванули на грузовике к Фролову на

базу. Завхоз и шофер погорелого театра. Два друга. Не разлей вода. Даже два «свояка» теперь. Ты понимаешь, о чем я? Понимаешь – «свояка»?

Луньков начал подхохатывать.

...И «свояками» я их сделал, я. Я жене Кошелева Роберта подсунул. Невольно, конечно, но я, Люба, прости... Но не для тебя это, не для тебя... Но невозможно же вспоминать об этом!

Луньков хохотал, охватывая голову. Как плакал, рыдал.

Удивленно из кабины постучали. К решетчатому окошку сунулся Роберт: ты чего, чего, Заварзин?.. Увидев вытянутое лицо с раскрытым ртом, Луньков совсем зашёлся в смехе, катаясь по мешкам.

Но быстро прошло в нём всё. Иссякло. Вернулся озноб. Луньков нахохлился, зажался. Смотрел на обмирающие, тонущие огоньки Нижегородки. Воспоминание, от которого так смешно было минуту назад, уже смятое, словно выпотрошенное, теперь только болталось с грузовиком, саднило. Отчаяние зашло в глаза Лунькова, и одного только хотелось: закрыть глаза, зажать уши и не вспоминать, не думать...

6

Полтора месяца назад, в начале августа, Кошелев впервые повёз Лунькова к себе на дачу. «В сад», как он сказал. Нужно было выкорчевать два пня, оставшихся от спиленных недавно берёз.

Ехали загородным автобусом. Потом шли по лесу. Кошелев пыхтел, отирал пот, крепко поминал сына Гришку, который под каким-то предлогом отбрыкался и не повёз на дачу. Луньков задирает голову к перелетающим птицам, запинался о корневища деревьев, отовсюду напозших на песчаную дорогу. Замерев от восторга, следил за стукотливым дятлом... Снова торопился за Кошелевым. Лицо Лунькова покраснелось, глаза радовались.

Но когда за лесом вышли на поле в овсах, озираясь по бескрайней, белой знойной его тоске, безысходности, ждало горло Лунькову каким-то предчувствием. Шёл. Мучаясь, смотрел за поле. На покатый длинный взгор. Где к высокому звонкому сосняку, как к храму, пополз, басурманином множилась дачный посёлок.

Кошелева дача влезла прямо в сосны. Был это обыкновенный с виду дом – одноэтажный, небольшой. (Правда, непонятно было: деревянный он или кирпичный?) Какая-то приземистая крыша, две трубы из кирпича, побеленные, но уже закоптившиеся по бокам... Внизу – штaketниковая невысокая горюдьба... Но, глядя на широкие окна в самодовольном покойном тюле, Луньков сразу подумал, что внутри наверняка и вместительно, и просторно... и богато.

– Генриетта, вот это тот самый Заварзин, – с удовольствием подчеркнув два «т» в имени жены, сказал Кошелев. Как коня, похлопал Лунькова по загорбку.

За штaketником на низкой скамеечке стояло железное корыто, полное воды и огурцов. Над ним колыхалась крупная женщина с задирающимся сзади платьем.

– Ага, – только и сказала она, мельком взглянув на Лунькова. И снова стала сгребать и раскидывать. Страстно сталкивались в корыте крутые волны. По загорелой до черноты сильной руке ёрзала слетевшая с плеча резко белая ляжка лифа.

– Моет... для засолки... – самодовольно смотрел на мощные высоко загорелые молодые ляжки жены Кошелев.

Ввёл, наконец, Лунькова во дворик.

Обогнули дом, шли вдоль длинной веранды, туго заполненной солнцем. Остановились перед высоким сараем. Через открытую половину широкой двери в темноватом прохладном провале угадывался у стен «товар», прикрытый брезентом. «И гараж, и склад», – отметил Луньков.

Кошелев сам выбрал и вынес две лопаты. Штыковую воткнул перед Луньковым в мягкую траву, совковую – вручил. Вынес топор. Но подумал и приставил к стене. Выволоч и бросил лом.

Сада, как такового, почти не было. Был больше огород. С тремя теплицами, где как лес стояли помидорные кусты с краснеющими плодами. Со смородиной и малиной вдоль штaketника, с широко разбросанной зеленью грядок, где ерошилась морковь, закоренелыми лысыми пьяницами валялись огурцы, черепно высох мак, желтел, вылинивал укроп. И опрятный вишенёвый кусток с горстками взвешенных налитых ягод – стоял восклицательным знаком всему.

Неподалёку от будки летнего душа с высоко взнесённым ржавым баком вышли, наконец, к двум пням, выкорчевать которые доверили Лунькову.

День был высокий, синий, ветреный. Гуляли, бегали, как освободившиеся аэростатики, чадливенькие облачка... Откинувшись руками на прохладную горку земли, под корни пня вытянув ноги, по пояс раздетый, белый, блаженно щурился Луньков на солнце, которое, словно лёгкие, беловато-сизые одежды, подхватывало охвостья туч. Подхватывало и отпускало...

Водя носом и закрывая глаза, Луньков ловил запахи, прилетающие от спелого сосняка за домом...

Вдруг увидел, что на него смотрит женщина. Жена Кошелева. Сразу схватил лопату. «Очень интересно она цепляет прищепки на бельё – глядит на меня, а прищепки словно сами собой взлетают из таза и цепляются на веревку... Генриетта... Хм... Это уже закономерность какая-то у Кошелева. *Робэрт... Генриет-та...* Интересно: на сколько лет она моложе Кошелева? На двадцать? На двадцать пять?»

Под взглядом женщины Луньков казался себе сильным, мускулистым, ловким. Он поддевал ломом, резко дёргал пень вверх. Тот не поддавался. А женщина стояла – и он ещё дёргал. Ещё. Распрямлялся. Как атлет, вдыхал побольше воздуха и выдыхал медленно, тряся руками. Освобождал мускулатуру. Снова накидывался. Теперь уже с лопатой. Подрывал и подрывал. Однако пни сидели крепко. Тогда, как только женщина с тазом ушла, стал потихоньку подрубить корни. Лопатой. Не выкапывать, как приказал Кошелев, а подсекать, рубить. И к обеду выворотил, наконец, один из пней. И только через час – другой.

Курил, сидя на краю ямы. Смотрел на закинувшиеся мохнатые пни. Судя по мощным корневищам, по толщине этих пней, спиленные берёзы были большими, зрелыми. Но не на тот огород попали они... Вернее, сам огород влез сюда. И свёл их.

Пришёл Кошелев. После обеда расположенный. Ковырял в зубах спичкой. Сплюнул. Лунькова похвалил. Ямы... (снова сплюнул)... велел закопать. Уходя, сказал:

– Ты это, Заварзин... Мы уже пообедали. Как закончишь, зайди в дом. Генриетта там. Покормит тебя. На веранде, я ей сказал. А я к соседу схожу... Ополоснись, если хочешь. Вон, в душе. Правда, вода, наверно, холодная.

Вода обожгла. Но чуть погода Луньков уже задирает лицо и с наслаждением слеп под мягко секущими струйками.

Кто-то зашёл в будку. Луньков подумал, что Кошелев. Но спросил: «Кто там?» С намыленной головой и лицом. Сзади молчали. Луньков торопливо стал смывать мыло. Обернулся... Бесстыже, отчаянно на него смотрела женщина! Генриетта! Большая грудь её в сарафанных цветочках вздымалась, напыленный рыжий парик съехал – рогато торчал! Луньков быстро прикрыл пах, отвернулся, зажался. Щёлкнула задвижка на двери. «Что вы делаете!» – «Тихо ты! Молчи!» Схватила за руку. Прислушалась. Точно приглашая и его, Лунькова, в заговор, в игру. И неуклюже, грузно повалилась на решётку внизу, дёрнув Лунькова на себя.

Из мокрого большого елозящего тела Луньков панически вырывался. Как вырываются из трясины. Закидывал голову и чуть ли не вопил.

Его отбросили в сторону: «Урод!»

Один, он валялся на деревянной решётке. По вытарашенным глазам хлестала вода, промывая их до дикости, бессмысленности вареных яиц...

Он вскочил, бросился к скамейке с одеждой. Быстро стал одеваться. Выглянул наружу... Короткими перебежками, как заяц, перебежал к даче, не зная, с какой стороны обогнуть её, чтобы юркнуть к калитке. На веранде никого не было.

Вдруг увидел Генриетту. В раскрытом сарае. Торопливо, зло, она сдёргивала с себя сырой сарафан. Вверх! Обнажая ягодицы будто воздух!.. Луньков зажмурился, кинулся вдоль дома, упал на траву, вскочил, сиганул мимо калитки через штакетник.

Он скользил вдоль дач. Дачи подбоченивались. Дачи скалились мансардным стеклом. Он отворачивался к соснам. И стволы рябили. Луньков охватывал голову. С ходу налетел на ведро воды возле крупного старика в пижаме, отдыхающего на тропе. Старика обдало по ногам водой. Луньков подхватил-поставил ведро. Быстро улыбнулся старику. И старик потрясал вслед кулачками и хлопался ртом, как калошей: «А-бар-мо-от!..

Через три дня Кошелев сказал:

– Съездишь, Заварзин, завтра на дачу. Генриетте поможешь. Новую полку ей там надо поставить... В погребе...

Луныков вздрогнул: да что это она! Да ей же в морге только работать! Вслух поспешно проговорил:

– Невозможно, Роман Авдеевич – фобия!

– Чего это ещё?

– Боязнь замкнутого пространства... У меня... Могу заметаться там... В погребе...

Банки побью.

Кошелев с подозрением смотрел: шутка, что ли? Брезгливо скривился:

– Э-э, интеллигент... «Фобия»... Как орден какой. Тьфу!

Озаботился. Недовольный, хмурый.

– *Робэрта*, что ли послать?

– Вот, вот! Роберт в самый раз!..

Кошелев опять прищурился.

– ...И полки сделает, и ни одной банки не разобьёт, – поспешно успокоил его Луныков, мечась взглядом. Опасаясь только одного – не засмеяться, не захохотать ему в рожу...

А тогда, вернувшись в город, уже в своей сторожке, боясь до конца осознать всё то гадкое, непереносимое, что сотворили с ним на даче, сидел Луныков у стола словно с одним засаженым в голову окриком – «А-абар-мо-от!» Набегали и набегали лёгкие слёзы алкоголика. Луныков пригибал голову к плечу, отирался рукавом рубахи. Снова застывал. С высокими – как у слепого – глазами...

...Есть люди, Люба, одинокие люди, которые вечерами, когда едят какую-нибудь жалкую свою еду – сырок ли, кефир ли там какой, булочку с чаем – то они словно винятся перед кем-то за то, что едят... Они ведь одни, Люба, одни! Никто их не видит!.. И вот – винятся. Поверь, жалкое, тяжёлое зрелище... И я признаюсь тебе, Люба: к таким людям теперь принадлежу и я, Игорь Луныков. Твой муж, твой бывший муж... Они виноваты уже в том, что живут на свете! Они заедают чужой век!.. Ох, прости, Люба, меня, прости. Тяжело мне сегодня. Прости...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.